

МОНОЛОГИ

Мария Васильевна Розанова — издательница парижского журнала «Синтаксис» и жена замечательного русского писателя А. Д. Снявского.

В краткой биографической справке, предложенной читателям ее журнала, говорится:

«РОЗАНОВА М. В. родилась в 1930 году в городе Витебске. Окончила отделение истории искусства МГУ. Преподавала в художественных институтах Москвы. Печаталась в журнале «Декоративное искусство». Как художник-прикладник участвовала в ряде выставок. В 1973 году выехала во Францию».

Через пять лет, в 1978 году, в Париже вышел первый номер «Синтаксиса». Только что, в апреле 1990-го, двадцать седьмой.

Можно ли в одиночку, в чужой стране, без технических сотрудников издавать журнал? Оказывается, можно. «Я вообще человек из частного сектора», — как-то призналась Мария Васильевна.

Под своей обложкой «Синтаксис» объединил известных в эмиграции А. Снявского и Янова, И. Голумштока и И. Померанцева, Сашу Соколова и С. Довлатова, Н. Рубинштейн и Ю. Вишневскую, советских авторов Г. Померанца, Т. Кибирова и Д. Добродеева, А. Битова, Л. Петрушевскую, французских филологов Луи Мартинеза и Жоржа Ниву и многих других.

«Синтаксис» был задуман как журнал беспартийный и независимый — от окрика «вождя», от силы денег, от «истины» в последней инстанции, — говорится в редакционном предисловии к одному из его номеров.

* * *

К моему очень большому удивлению, Снявский сегодня оказался на родине одним из самых популярных писателей. По моему ни один из номеров «Литературной России» или «Московского литератора» не обходится без того, чтобы так или иначе упомянуть никому практически неизвестного, но тем не менее до чрезвычайности гнусного Абрама Терца. Таким образом, я снова стала женой знаменитости.

Но это все шуточки, это все чепуха и ерунда. Гораздо интереснее то, что произошло сегодня со мной в двух редакциях, в очень уважаемых мной и невероятно либеральных журналах. Один из них был журнал «Огонек». Замечательные люди, которых я очень люблю, с которыми меня связывают самые нежные отношения (не скажу, кто по имени), попросили меня или Снявского, или нас вдвоем что-нибудь написать для журнала «Огонек». Хотите пишите вместе, хотите — оптом, хотите — в розницу, хотите — про Советский Союз, о вашей последней поездке, наблюдениях, сравнениях, анализе, то се — карт бланш вроде бы. А я говорю тихо и ласково: «Ну, понимаете, — и пальцем вожу, глаза туплю, — я ведь не люблю, чтобы меня сокращали, редактировали...» «Да нет, — говорят, — у нас сегодня все можно, пишите про что хотите». А я так продолжаю пальцем крутить по столу и говорю: «Ну вдруг я про КГБ не то что-нибудь напишу...» А мне говорят: «Да, нет, у нас вот в последнем номере уж такой погром КГБ идет...» А я говорю: «А вдруг я с Солженицыным где-нибудь не соглашусь...» И прелестный человек, которого я очень люблю и не назову по имени, говорит: «А вот на это табу». Так что же получается — за что боролись, на то и напоролись? Если мы делали революцию во имя крушения каких-то табу, то революция кончилась тем, что бывшие наши бойцы, бывшие наши революционеры на новом витке истории построили диктатуру, и мы опять гонимся за лидером.

Знаете, когда я была молода и прекрасна, много лет тому назад, был у меня поклонник — велосипедист. И водил он меня на велотрек, и видела я совершенно замечательные гонки — гонки за лидером. Это когда впереди мотоцикл, мотоцикл разрубает воздух, а дальше несется велосипед. Забыла я поклонника, забыла велосипед, прошло много лет. И вдруг этот образ выплыл из подсознания, и я почувствовала, что опять мы находимся в ситуации «гонки за лидером». Это было очень горькое открытие. Лидер впереди... и боже вас упаси сказать супротив лидера слово, возразить... И вот эта ситуация произошла в журнале «Огонек». Самое печальное, что буквально через два часа подобная же ситуация произошла еще в одном очень революционном журнале — «Знамя». Где тоже были замечательные люди, причем, мы понимали друг друга, мы любили друг друга. Я говорила: «Я хочу напечатать вот эту статью из журнала «Синтаксис». Мне ответили: «Это замечательная статья, но, к сожалению, напечатать ее невозможно!»... Эти странные ситуации будут повторяться, пока мы не перестанем гоняться за лидерами, пока мы не научимся думать своей головой и печатать то, что мы хотим, не бояться сказать то, что мы думаем. Пора научиться какие-то вещи додумывать до конца. И наша беда, общая беда, в том, что в какую-то минуту робеем, с какими-то иллюзиями не можем расстаться и какие-то ситуации отказываемся додумывать, доводить до их логического, может быть, не очень нам приятного конца. И пока мы не преодолеем этот внутренний страх, ничего хорошего ни у нас, ни с нами не получится. Сколько бы мы ни крутили свою лодку влево.

* * *

Мы попали в эмиграцию в 1973 году. В 1975-м мы уже почувствовали, что эмиграция — это капля крови нации, взятая на анализ, и все те процессы, которые идут в стране, идут в эмиграции тоже, и все проблемы, которые есть в стране, есть также и в эмиграции. И точно так же, как Синявскому, негде было печататься в эмиграции. Поэтому мы и сделали журнал «Синтаксис».

У каждого издателя есть свой маленький предмет гордости. У меня тоже есть своя издательская гордость: мы открыли, мы унюхали один сюжет, когда еще нам никто не верил. Этот сюжет называется «русский национализм», это сюжет называется общество «Память», журнал «Молодая гвардия». Это тот сюжет, который вы сегодня уже хлебаете большими черпаками и который может привести нас черт знает куда. Впервые мы об этом заговорили в 1978 году, двенадцать лет тому назад. Над нами смеялись и говорили — тогда Синявский написал в «Синтаксис» одну из статей на эту тему — ну, подумаешь, он писатель, да еще с потугами на гротеск. Вообще, воспаленное воображение мало ли куда может завести писателя. Этого всего не может быть.

Прошло несколько лет, о чем писалось в первых номерах «Синтаксиса», сегодня уже свершается на наших глазах. Одна из задач нашего журнала — эта постановка острого вопроса. Вчера, позавчера, сегодня и так далее...

* * *

Стали ли дети Моцарта или Бетховена великими музыкантами. Нет. Приблизительно то же самое происходит и с эмигрантской литературой.

Была литература первой эмиграции. Это была литература, зародившаяся в метрополии, выехавшая и развивавшаяся так или иначе в эмиграции. Но я не помню сейчас русских писателей, родившихся в эмиграции и ставших в эмиграции русскими писателями. То есть эмиграция — это своеобразный музей, и поэтому я не вижу у эмигрантской литературы будущего вообще. Я не знаю ни одного поэта, сошедшего в эмиграции. Мне могут возразить — Борис Поплавский. Но Борис Поплавский все-таки не в эмиграции родился. И поэтому эмиграция это кладовка, это хранилище самых замечательных вещей. Но это не роддом, там не рождаются. Больше того, когда мы приехали в эмиграцию, нам вначале все было невероятно интересно и мы пребывали в эмигрантской эйфории. Прекрасный русский язык, на котором уже не разговаривают. Прекрасные имена, прекрасные традиции, замечательно сервированный стол, ножи-вилки все держат правильно и красиво, и в нужные бокалы наливают вино, а куда надо, наоборот, — воду.

Однажды, когда мы только приехали, Синявского пригласили в Женеву прочесть лекцию — в женеvский русский кружок. Синявский невероятно переполошился. В Сорбонне он уже вроде бы читал, там все шло, как надо. А тут в Женеву, в русский кружок, приглашают. Он долго терроризировал меня, все думал, о чем прочесть лекцию. Об этом — ну это слишком просто, об этом — ну это не очень интересно. А надо, чтобы лекция была круглая, чтобы уложилась с началом и концом в час — час пятнадцать, не более того. И решился Синявский на невероятно изысканное; он решил в Женеве прочесть лекцию о Хлебникове.

Приехали мы в Женеву, жили под Женеvой — в Савойских горах. Красота невероятная, весна, проплешины, здельвейсы цветут. Хозяйка предлагают: давайте в горы съездим. Нет, говорит Синявский, не могу, пока не прочту лекцию. Терроризировал опять весь дом, готовился к лекции, выбирал примеры. заумный язык, эпос... все слова такие красивые. И вот вышел: полный зал народу, громадный амфитеатр, битком набитый, русские съезжались со всей Швейцарии. Ходит Синявский по эстраде и хорошо поставленным голосом вдохновенно читает... И вдруг до меня доходит — я сижу сбоку, смотрю на аудиторию, — что, кроме меня, профессора Жоржа Нива, замечательного человека Симы Маркиша, Ефима Григорьевича Эткинда и Марка Слонима, старого литературоведа, имени Хлебникова никто никогда не слышал. Весь этот спектакль, все эти дни волнений, все эти переживания — ах, моя встреча с Женеvой! — все кошке исключительно под хвост и никуда больше. Когда Синявский окончил, был взрыв аплодисментов. Потом он спросил, есть ли вопросы. Но не может быть вопросов, если перед вами выступали на языке, который вы не понимаете. Все похлопали и вежливо разошлись.

У швейцарского русского кружка есть свое правление, которое по обычаю после лекции приглашает лекторов и гостей в «кабак» напротив университета и в подвальчике члены правления с гостем пьют пиво. И вот садятся все вокруг стола в маленьком, битком набитом кабинете. Рядом с Синявским сидит какая-то старушка в шубке. И вдруг я слышу такой разговор. Старушка на ухо у Синявского спрашивает: «А вы из Москвы приехали?» — «Да», — говорит Синявский. «А в Москве церковью много?» — «Да, не очень много, но все-таки есть». — «А вы в церкви в Москве бывали?» — «Да», — говорит Синявский, — бывал». — «А вы там наших видели?» Тут я почувствовала, что у меня вот на загривочке где-то волосики шевелятся и разговор отдает немножечко чем-то потусторонним. Синявский ее спрашивает так же тихо: «Кого — наших?» Она говорит: «Белых». Бедняга крошечка Синявский стал крутиться, как уж на сковородке, и говорить что-то невнятное про то, что церковью все-таки не очень много, там очень много народу, и понять, кто — белый, кто — красный, сегодня очень трудно...

В нескольких таких ситуациях я и почувствовала, что не все так просто в этом датском королевстве под названием русская эмиграция, и что русская эмиграция, во всяком случае старая русская эми-

грация. — это на самом деле колоссальнейшее кладбище. А на кладбище у нас ведь как дело происходит? На кладбище у нас все попросту. Один покойничек спокойно себе лежит в могиле и спит, а другой покойничек из могилы выходит, бродит и к вам понемножечку подсаживается... Вампиром он работает преимущественно... И, в общем, эмиграция в очень большой части состоит из таких вот вампирчиков. Я не знаю, показывают ли в Советском Союзе вампирские фильмы. На Западе их очень много. Так вот: в ту минуту, когда вампир вас хватает и начинает из вашей шеи кровь пить, он на самом деле ничего плохого вам не желает. Ведь вы же не погибаете в результате — вы тоже становитесь вампиром, только и всего. В ту минуту, когда вампир пьет вашу кровь, он вас любит. Он хочет, чтобы вы тоже вошли в сообщество вампиров. И я заметила, как нас, третью эмиграцию, мало-помалу начинают вампирчики подхватывать: то одного подхватят, то другого. И даже у нас появился такой домашний термин про некоторых знакомцев из нашей волны эмиграции «подсосанный»: «Этот уже подсосанный!» То есть он принял условия игры первой эмиграции. А условия игры первой эмиграции практически были довольно простые. И здесь, как мы очень скоро обнаружили, были свои табу, свои правила игры и своя теория сегодняшней России. А именно: Россия — это, естественно, Святая Русь, бедная страна, оккупированная евреями, поляками и латышами. Большевики — это евреи, поляки и латыши, которые оккупировали наше бедное отечество. И поэтому стряхнуть с себя хазарского всадника — одна из задач российского воинства. Вот такая незамысловатая теория и лежит в основе очень многих староэмигрантских построений. Согласитесь, что литература на этой почве, самостоятельная литература, вырасти не может. Нет земли для роста литературы...

Литература первой эмиграции благополучно кончилась, завершилась. Все, кто мог что-то написать — написали. Набоков ушел в английский язык. Ремизов до конца дней писал по-русски. Он вообще французского языка не знал. И тот, и другой ушли на свои кладбища. Все. И новой литературы не выросло. Новая волна дала новых писателей. Причем этих писателей потомки старой эмиграции долго не принимали. Во всяком случае, роман Войновича о солдате Чонкине очень долго не мог найти издателя. Потому что вдруг оказалось, что в первой эмиграции спокойно выросли те же самые каноны социалистического реализма. Та же самая теория положительного героя... «И как же так? — сказали читатели первой волны, когда уже Чонкин был, слава Богу, напечатан. — Может ли быть русский солдат кривоногим?» И вот эти рассуждения, что «Необычайные приключения солдата Чонкина» есть оскорбление русского воинства, русского солдата, очень напомнили мне некоторые отзывы советских генералов о том же самом. Причем, честное слово, это были белые, те — красные, но эстетика выросла приблизительно одна и та же. Или еще: люди, с которыми мы дружили и которым мы поставили пленку Высоцкого, тоже мне сказали, что Шалапин пел лучше, потому что не хрипел и не кричал, и они не понимают, зачем надо кричать...

Аналогичная ситуация случилась, когда А. Глезер привез в Париж свою коллекцию нонконформистов, открыл галерею и показал Свешникова, Плавинского, Немухина, Оскара Рабина и так далее. Сначала ходили по выставке старушки и, толкая друг дружку, говорили: «Смотри, смотри — пиписька!...» А потом правление того дома, на территории которого развернули эту выставку, сказал, что они не могут на этих картинах учить детей любви к России. Дети должны знать, что есть Святая Русь. Но как же можно воспитать любовь к России на лагерных картинах Бориса Свешникова? А то, что дети уже и по-русски не разговаривают, — неважно. То есть конфликт возник тот же самый.

Тем не менее литература есть, и эта литература сделана новым поколением эмиграции — третьей волной... Именно в эмиграции замечательным писателем стал Сергей Довлатов, хотя приехал он еще начинающим писателем с очень сырым и неряшливым пером. В эмиграции вырос Лимонов. Правда, в эмиграции он перешел на прозу.

* * *

Я — человек из частного сектора, я считаю, что частная собственность — это естественное состояние человека... Друг мой, Юра, с которым мы много часов уже провели в его машине, устал слушать, как я поношу Москву последними словами. Последнее мое любимое занятие — поносить Москву. За ширину улиц, за пропавшую землю. Я не знаю ни одного города такого, который вот так бы размазался по земле, расселил своих жителей неизвестно куда... Ведь город-то мертвый. Вечером едешь — Москва черная, мертвая. Людей в городе уже почти нет — размазаны по каким-то невероятным окраинам. И дом — перелесок, дом — перелесок... Когда я вижу колоссальные пустыри, мне хочется бить палкой по голове Моссовет, Моспроект, ГлавАПУ и многих-многих еще. Я не знаю, может быть, где-то заложена в нас эта любовь к простору... Ну зачем Москве нужен Ленинский проспект? Злые языки утверждают, что товарищ Сталин рассматривал Ленинский проспект как запасной аэродром — разбежался и взлетел... У меня есть замечательный, как мне кажется, проект превращения Ленинского проспекта в две улицы. Можно даже сохранить название — Ленинский туда, Ленинский обратно. А посередине можно поставить много, много домов...

* * *

Первый мой прогноз. Предстоит вам сейчас солженизация всей страны. И боюсь, я очень боюсь, что если вы не сбросите целый

ряд табу, предстоит вам гражданская война. И это страшно. Это больно... Я очень боюсь.

Мой сын вырос французом. Мы разговариваем с ним так: вот — у вас, а вот у нас. Дело в том, что вначале мне хотелось вырастить русского мальчишка. Вот русский мальчик, вот наша большая библиотека, вот традиции дома, семейные предания. У нас их достаточно — и у меня, и у Синявского. Все было так пока я не увидела первую эмиграцию, некоторых ее представителей. И тогда я подумала: «Боже мой, единственный ребенок, которого я так люблю, вырастет вот в этого межеумка. Ни за что! Пусть будет французом, но цельным и думающим человеком. И бросила его, как котенка, во французскую школу, французскую среду и т. д. — Теперь он мне говорит: «У вас такие академики, как Аганбегян, делают экономикой?.. У вас ничего не будет!.. Это говорит мой ребенок, который в экономике собаку съел.

Спаси вас может только смелость, только старание все додумать до конца. Не бойтесь додумать все до конца, даже если конец неприятен. Знаю, как не любят люди думать о неприятном. Думайте о неприятном тоже — это лучший способ защититься от неприятного.

Записала Ю. СОЛОВЬЕВА.



Издавать журнал оказалось делом очень дорогим. И, чтобы не прогореть сразу, я организовала у себя в доме маленькую типографию. Весь журнал печатается от начала до конца в моем доме.

Люблю рассказывать про то, как я заказываю бумагу. Я звоню на фирму и прошу прислать мне тонну бумаги. А мне говорят: «Мадам, но тонна бумаги — это невыгодно, возьмите три тонны и мы вам сразу сделаем 28% скидки, а если вы возьмете пять тонн, то скидка будет составлять уже 32 процента». Так капиталист берет меня за горло своим твердым франком. И я, тут же начав считать, попадаюсь на эту капиталистическую удочку.

Один из источников существования журнала «Синтаксис» — это графоманы, которых я печатаю. Приходит ко мне графоман и говорит: «Мадам Синявски, пожалуйста, вот я пишу стихи, в пушкинской традиции пишу, и вот, понимаете, я уже старый человек, мне скоро уходить, я хочу оставить что-то на память дамам, за которыми я ухаживал, и, пожалуйста, я хочу напечатать сборник своих стихов». И, действительно, приносит свои стишечки и просит сделать маленький тираж — 30 экземпляров. А у меня машина 30 экземпляров не берет. У меня скорость печатного станка 5,5 — 6 тысяч оттисков в час... Тем не менее, делаю я ему такой тираж, а он мне в кулаке — свои франки за это. Я на эти деньги печатаю журнал «Синтаксис». Тут же возникает вопрос: имею ли я право, если у меня есть печатный станок, не только надрываться, как последняя сволочь, около него, но и получить с этого дела какое-то удовольствие. Есть авторы, которые доставляют мне невероятное удовольствие. Есть такой совершенно пре-

лестный автор — Вагрич Бахчанян. Вагрич Бахчанян недавно в «Синтаксисе» напечатал замечательную вещь — «Повесть о том, как поссорились Александр Исаевич и Иван Денисович». Причем, взял он известный всем текст и, не меняя ни слова, просто заменил все имена. Там у него Наталья Дмитриевна, которая откусила ухо Чилидзе, и так далее. Участвуют все действующие лица эмигрантской ярмарки тщеславия. Но уложено это в гоголевский текст идеально. Получилось очень смешно, очень весело. Кроме этого, Вагрич Бахчанян сделал, например, замечательную книгу. Она называется «Ни дня без строчки (годовой отчет)». Открываете, а там написано: «строчка написана 1 января такого-то года», далее — «строчка написана 2 января такого-то года», и так далее. 365 раз. Такая маленькая книжечка. То есть он делает книжки-игрушки. И мое большое увлечение — такие вот книжечки печатать. Также я сделала прелестную книжку Резо Габриадзе под названием «Пушкин в Испании» с предисловием Андрея Битова и тиражом в 100 экземпляров. 80 экземпляров получил автор, 20 экземпляров осталось у меня. А когда приехали в Париж «Митьки», я напечатала книжку прямо при них. Митьки писали ее, расположившись вокруг печатного станка, пока о них снимали фильм. Получилась маленькая книжечка-альбом на плотной рисовальной бумаге. Это и есть мои маленькие типографские развлечения... Правда, митьки съели весь холодильник и выпили все, что было в доме. Но было очень весело. Они приехали в расписном автобусе, и я больше всего жалела — а я живу в пригороде Парижа, на маленькой улице — что этот автобус не может прямо въехать на мою улицу. Поэтому что мне очень бы хотелось, чтобы такой автобус

постоял на фоне моего дома... Митьки — замечательные ребята. Я считаю, что в наш век неизжитого социалистического реализма и при нашей несусветной, невероятной тяжелой национальной серьезности, когда всей страной сидим на горшке и тужимся с серьезными лицами, должны быть митьки, должен быть Резо Габриадзе, который отправляет Пушкина в Испанию, в Нью-Йорк (следующая его книжка будет «Пушкин в Нью-Йорке») и «Прогулки с Пушкиным» А. Синявского.



У людей, которые бегут от страха, один путь — ассимиляция. Создание русской эмигрантской колонии приводит к двум путям: или жить по правилам этой колонии (а правила эмигрантской колонии в высшей степени неприятны), или искать в себе мужество жить так, как живем мы. Я сказала как-то Синявскому: «Плевать мне на всех. Станем спина к спине и будем отбиваться. И все». Но дело в том, чтобы жить так, как мы живем, надо уметь быть самодостаточным. А отечество приучило нас быть тварями коллективными. Ищем, к чему бы прислониться. И в эмиграции люди тоже очень боятся остаться в одиночестве. Ищут, к чему бы прислониться, и прислоняются к тому или иному коллективу. Все-таки нас здорово отличает эта российская традиция жизни миром, и что «на миру и смерть красна». Западный человек живет в системе «мой дом — моя крепость». Но если так, уже из этой крепости к соседу за солью не побежишь. Тут это не получается.



Как вы думаете, не лежит ли где-то в основе колхоза, например, вот это стремление жить миром? Не привела ли эта традиция и эта психология к очень страшной трагедии? Трагедии колхоза...

Дело в том, что мы с Синявским очень долго были заядлыми славянофилами, вся наша жизнь до его ареста прошла в поисках Святой Руси. Мы каждое лето с 1955 по 1965 годы отправлялись на Север. Мы исходили весь Север пешком. На байдарке, на попутной машине... Мы прошли все северные реки. Все искали Святую Русь. И находили ее.

Однажды, на реке Мезени, в староверческой деревне нам встретилась слепая бабка Ульяна, которая занималась тем, что где-то покупала курятник, ставила на этом курятнике крест, на-

бирала икон и открывала часовню. И потом ее же односельчане в лице то председателя колхоза, то председателя сельсовета, то прочих должностных лиц, эту часовню разоряли. Тогда она снова покупала какой-то курятник. И все повторялось сначала. И мы видели еще немало таких людей, как бабка Ульяна. Но рядом с этим мы встречали абсолютно загаженные испохабленные церкви, и русских людей, которые эти церкви разрушали...



Вот, посмотрите, это туалетная бумага, выпущенная во Франции к 200-летию французской революции. На ней изображен оттиск 100-франковой купюры с историческими реалиями французской революции. Мыслимо ли, чтобы у нас выпустили подобную бумагу с оттиснутым на ней червонцем? Нет... Понимаете, я ждала празднования 200-летия французской революции с некоторым ужасом, хотя уже 15 лет живу во Франции. Опасалась каких-то официальных торжеств. Но все было так остроумно, так весело... Это был цирк, это было кино. Удивительное зрелище. К этим дням выпустили и презервативы, окрашенные в национальные цвета, и календарь, где все события революции разгрызались котами и кошками. Например, сюжет знаменитой картины Давида об убийстве Марата. Симпатичный кот Марат лежал в ванной, рядом с ним была очаровательная белая кошечка Шарлотта Корде, а на стенке висела «Декларация прав граждан и котов»...



Да! Ведь Пушкин сам же про себя писал, что, скажите, мол, детям, если они будут хорошо себя вести, придет Пушкин — весь он сахарный, а зад у него яблочный, и если дети будут себя хорошо вести, то им всем дадут попробовать по кусочку... Ну, а теперь транспонируйте эту фразу на Солженицына. Скажите детям, что придет Солженицын, весь он сахарный, а зад у него яблочный. Ну, как?

Как мне кажется, «Прогулки с Пушкиным» — это где-то очень пушкинская вещь. С пушкинскими поворотами. С пушкинской легкостью. Для меня это просто объяснение в любви. Это на самом деле есть объяснение в любви мне, моя любимая книжка. А дело в том, что у этой книжки есть своя исто-

рия. Я ее, правда, недавно рассказала Феликсу Медведеву... Причем, я ему говорю: когда мне было 10—11 лет, война, я совершила дурной поступок — ну, я много их в жизни совершала, — я украла из школьной библиотеки книгу Вересаева «Пушкин в жизни». Думаете, Феликс Медведев написал в советской газете «Я украла книгу»? Он написал, что я взяла книгу и не вернула ее в библиотеку. Не было этого! Не было этого! Я ее крала в буквальном смысле этого слова, умышленно, долго обдумывала. Дело в том, что я тогда, маленькой девочкой работала в библиотечном кружке, была доверенным лицом, меня пускали шарити по полкам, я расставляла книги.

Я не брала ее почитать, я ее тихо взяла сначала с полки, где она стояла, и переместила туда, куда никто не заглядывал. А потом улучила минуту, чтобы украсть, и именно украла. Но Феликс Медведев этого не написал. Нельзя так, ну как же так — положительный человек не может красть! А положительный человек может все — и украсть в том числе. Все может. Так и Пушкин. Все мог... И я, может, Пушкина полюбила из-за того, что я впервые увидела в этой книге не хрестоматийного учителя жизни, а свободного человека, с массой всего наемшанного в нем, свободном человеке. Книга «Пушкин в жизни» прошла со мной всю мою жизнь. Я Синявского десять лет до этого угваривала: «Ну прочти!» «Не буду, некогда». Чем-то своим занят... Синявский прочел ее в Лефортове — нашел время и место! — и понял меня, и стал писать о Пушкине и в тюрьме, и в лагере. Собственно говоря, это продолжение его последнего слова на суде. Защита чистого искусства, которое никому ничего не должно и... идите на фиг. Я почувствовала, что человек жив. Причем, без великих слов: «Пушкин, дай нам руку трата-та...» А именно так — помог, вывез Пушкин Синявского в лагере.

Но человечество на самом деле состоит из дурных учеников и очень немногие люди умеют читать. Я думаю, что профессия писателя на самом деле гораздо более распространена, чем профессия читателя. Писателей много, читателей — единицы. И потом люди не умеют читать целиком, они выхватывают фразу, скажем, «Россия, сука...», а что там еще написано — до, по-

сле, через пять страниц — никого не волнует. Вот, мама, он меня сухой обозвал... Вот такое и с Пушкиным — «тонкие эротические ножки». Тут же спрашивают: а откуда вы знаете, что у него были ножки тоненькие и к тому же эротические? Но в эмиграции зато эти «тонкие эротические ножки» наделали много переполоху. Все решили, что это как раз про то самое, что надо. И книжка в эмиграции разошлась, как горячие пирожки — в колоссальнейшем количестве. Тираж за тиражом я печатаю... Однако сегодня Синявский в эмиграции самый горячий писатель, он даже переплюнул Набокова и Цветаеву.

Когда меня кондратий чуть не прихватил? На пресс-конференции Союза писателей РСФСР. Дело в том, что когда-то антисемитизм был монополией государства. И поэтому с бытовым антисемитизмом было немножко легче. Сегодня государство отдало это на откуп так называемым российским писателям. И это, конечно, самое страшное. Сейчас антисемитизм пойдет и под православными знаменами... Понимаете, мне странно, что «Русофобия» Шафаревича не нашла должного отпора до сих пор. Мне это очень странно. Потому что, с моей точки зрения, публикация этого произведения — это «ЧП», в чистом виде «ЧП». И то, что до сих пор не поставлены точки над *i*, меня удивляет. С одной стороны. А с другой стороны, меня это не удивляет. Потому что Шафаревич не одинок, он не сам по себе выплыл вот с этими прекрасными идеями. За Шафаревичем стоит очень мощная фигура Александра Исаевича Солженицына. Они ближайшие друзья, они единомышленники. И я думаю, что это в какой-то мере даже согласованная акция. Больше того, слово «русифобия» впервые в наше время применил Солженицын в своей статье «Наши плюралисты», где и наметил вот этих самых «русифобов». Дальше Шафаревич в своей работе развивает идеи Солженицына, высказанные в «Наших плюралистах».

В 26-м номере «Синтаксиса» опубликована статья И. Голомштока о Шафаревиче. Я пытаюсь ее напечатать здесь, и уже разговаривала с несколькими редакторами.

Но статью напечатать пока не удается. Никто не берет.

Я мечтаю напечатать здесь эту статью. Хотя она очень острая, но — корректная. Дело в том, что Игорь Голомшток занимается проблемами искусства тоталитарного мира, и сейчас в моем издательстве выходит его большая книга, где он говорит об искусстве сталинской поры, поры Гитлера, Муссолини... И в связи с этим Голомштоку пришлось прочитать многие немецкие теоретические труды того времени, в частности, когда он сверял цитаты для английского издания из «Mein Kampf» и из Розенберга, он вдруг сказал: «Мамочки! Ведь это же Шафаревич! Я это только что читал». Он не поленился и нашел аккуратненько параллельные места, параллельные идеи, все как надо, и изложил это в статье. Я предложила «Знамени» — они побоялись, я предложила «Огоньку» — там тоже «не мычат, не телятся». Кто храбрый?

Это, в общем, одна из моих «синтаксических» задач — найти те сюжеты, которых все боятся... Где-то идея первооткрывательства. Я ужасно горжусь тем, что «Синтаксис» у нас — журнал-первооткрыватель.

А потом есть еще одна вещь — в порядке уже чистого сентимента. Каждый из нас вырос на чем-то, были какие-то ситуации, которые его в какую-то минуту перевернули, сломали или, наоборот, собрали, поставили как-то. Для меня это случилось в 1948 году, простите, с жидками. Я в 1948 году поступила в университет. И мне, Марье Васильевне Розановой (Кругликовой), которая всю жизнь была двоичницей, потому что была прогульщица и бандитка и предпочитала крутить романы с мальчиками, а не просиживать задницу за учебниками, ставили хорошие отметки за мои две русские фамилии. А моей подруге Майке Рубинштейн, которая высиживала свои знания — я-то знаю, что она знала больше меня, — выше тройки на вступительных экзаменах не ставили. И вот этот стыд перед ней я забыть не могу. Ни забыть, ни изжить не могу. Это стало для меня большим сюжетом.

С 1949 года у меня хранится подборка газет со

статьями о «космополитах». Что дарит любимая девушка любимому мужчине на день рождения? Я ему подарила пачку газет про врачей-убийц. Оказалось, — в самую масть. Он еще не успел мне признаться, что пишет «Суд идет», где есть сюжет о врачах-убийцах, и вдруг... И вдруг любимая девушка дарит ему подборку газет. Ну, я считала, что евреи просто составили мое семейное счастье.

Это моя болячка, потому что это прошло через всю мою сознательную жизнь. Вся моя сознательная жизнь — это вот позорище, позорище!.. Хорошо в государстве Израиль, там евреев много, там можно их не любить, там можно ходить и говорить: «Боже, одни евреи, фу, какая гадость...» Там можно с ними воевать, говорить, что они такие, сякие, пятые, десятые... Зачем они обижают бедных палестинских детей и... мало ли что. Потому что там их не обижают... хотя там тоже свои проблемы. Там проблемы между ортодоксальными евреями и евреями неверующими... Попробуйте, скажем, проехать через квартал Миошарим — квартал ортодоксальных евреев — в субботу. Однажды там забросали камнями машину скорой помощи.

Но это не моя проблема — это их проблема. А антисемитизм в России — это моя проблема.

* * *

Да, русский фашизм. Я очень боюсь, что это будущее России. И тем не менее надо сделать все, чтобы этого не случилось. Все, понимаете? Потому что это будет такое позорище моему русскому народу, какого не бывало.

Надо сделать все, чтобы этого не случилось.

Записала Ю. СОЛОВЬЕВА.

На снимке: М. В. Розанова на Русском кладбище в Сен Женеьев де Буа под Парижем.

Фото Ю. РЫБЧИНСКОГО.

